
Из воспоминаний великого писателя

В марте на российский книжный рынок впервые вышли мемуары Нобелевского лауреата по литературе Габриэля Гарсиа Маркеса. Книга под названием «Жить, чтобы рассказывать о жизни» была издана в Колумбии еще около десяти лет назад, однако в России права ее на публикацию были куплены только в 2010 г. Воспоминания о детских и юношеских годах, первых рассказах и работе в качестве журналиста и писателя публикует издательство АСТ. Предлагаем вниманию наших читателей фрагмент русского перевода книги.

*Жизнь — не то, что прожил, а то, что запомнил,
чтобы рассказывать о жизни.*

Свершилась беда Аракатаки. Умер дедушка, а вместе с его смертью пришло новое горе, новая смерть, не менее страшная — умерла сама Душа нашего дома.

Постепенно, но как-то очень быстро, стало изменяться все то, на что имела влияние его власть. А ведь это был целый мир. Это была наша семья. И со смертью дедушки все стало погружаться в какую-то вязкую, быстро затягивающую в себя неопределенность, абсолютно лишенную маломальской устойчивости. Угасало то, что еще оставалось от его бывшей власти. Власти, так сильно влиявшей на жизнь семьи. И с тех самых пор, как никто не вернулся на поезде, общая наша судьба — да и каждого по отдельности члена семейства — все больше и больше стала терять четкие очертания. Пока вовсе не растворилась в неясном и сером пейзаже.

Когда бабушка почти утратила зрение и рассудок, мои родители взяли ее к себе, и это благотворно повлияло на старую женщину.

Тетя Франсиска, девственница и страдальца, оставалась прежней в своей невероятной болтливости и грубых поговорках и даже отказалась отдать ключи от кладбища и церковные доходы от пожертвований причастников, чтобы воздвигнуть памятник, рассчитывая на то, что, дескать, Бог позовет ее, как только на это будет его воля. В один какой-то день она села у двери своей комнаты шить саван самой себе. И раскроила несколько чистых простыней с таким мастерством и ловкостью, что даже смерть покорно ожидала окончания ее работы аж больше двух недель. После окончания столь важной по замыслу работы, пребывая в прекрасном расположении духа, не испытывая вообще никаких угрызений и тягостей, она легла спать. Даже и не попрощавшись ни с кем. Отошла тетушка в своем самом лучшем со-

стоянии здоровья. Лишь после того как все произошло, мы узнали, что накануне ночью она заполнила все необходимые документы о смерти и распорядилась насчет своих похорон.

Эльвира Карильо, которая также по своей собственной воле так никогда и не познала мужчины, осталась в огромном доме в полном одиночестве. Иногда в полночь она просыпалась от звука кашля в соседних спальнях, но эти звуки никогда особенно не тревожили ее, потому что за много лет она успела привыкнуть к своеобычности потусторонней жизни. А ее родной брат-близнец Эстебан Карильо, напротив, пребывал в здравом уме и был энергичен до очень пожилого возраста. Однажды, завтракая с ним, я напомнил ему во всех возможных визуальных подробностях, как его отца пытались выбросить за борт шлюпки у Сьенаги: толпа подняла его на плечи и раскачивала, как погонщики вьючных животных Санчо Пансу.

Папалело к тому времени уже умер, и я рассказал эту историю дяде Эстебану, потому что она мне казалась занятной и еще потому, что не рассказывал об этом никому с тех самых пор, как сам услышал об этом.

Но дядя вдруг в ярости вскочил с места, желая узнать от меня все детали и нюансы и даже имена тех, кто пытался утопить его отца. Я рассказал ему все, о чем знал сам: что Папалело даже не защищался, а ведь слыл отменным стрелком, который в течение двух гражданских войн много раз бывал на линии огня, спал с револьвером под подушкой и уже в мирное время убил на дуэли противника. В любом случае, сказал мне Эстебан, никогда не поздно родственникам покончить за него. Это был закон Гуахиры: за оскорбление члена твоей семьи непременно должны заплатить все мужчины семьи обидчика. Мой дядя Эстебан был настолько решителен, что вытащил револьвер из-за пояса и положил его на стол, словно для того, чтобы не терять времени, пока меня расспрашивает.

С тех пор всякий раз, как мы встречались с ним в наших скитаниях, я возвращал ему надежду, что вспомню имена обидчиков. Однажды ночью он появился в моей небольшой комнатухе при издательстве, как раз в ту пору, когда я занимался изучением прошлого семьи для моего первого романа, который не закончил, и предложил вместе провести расследование того давнего покушения на честь и жизнь. Он никогда не сдавался...

Последний раз, когда я его видел в Картахене-де-Индиас, уже совсем старого, с надорванным сердцем, он попрощался со мной с грустной улыбкой:

— Я так и не смог понять, как тебе удалось стать писателем с такой плохой памятью!

Когда уже нечего было делать в Аракатаке, отец опять перевез нас в Барранкилью, чтобы открыть другую аптеку. И снова без сентаво в кармане, но с приличной репутацией у оптовых торговцев, своих партнеров по предыдущим аптечным начинаниям. Эта аптека была не пятой, как мы говорили в семье, она была вечной, потому как мы возили ее из одного города в другой исходя из коммерческих наитий отца: две в Барранкилье, две в Аракатаке и одна в Синсе.

Во всех он имел нестабильную прибыль и долги, как нечто само собой разумеющееся. Семья без бабушек и дедушек, без тетей и дядей и без служанок состояла теперь лишь из родителей и детей, но нас было уже шестеро — трое мужского пола и три женского — за девять семейных лет.

Я был весьма обеспокоен этими переменами в моей жизни. Я бывал в Барранкилье несколько раз, чтобы навестить родителей, но только в детстве и всегда проездом, и мои тогдашние воспоминания были смутными и обрывочными. Впервые меня привезли в три года на рождение моей сестры Марго. Я отчетливо помню лишь болотистую вонь от порта на рассвете, коляску, запряженную прихрамывающей лошастью на разбитой пыльной улице, возничаго этого экипажа, который грозил хлыстом носильщикам, пытавшимся подняться на облучок.

Помню стены цвета охры и зеленую древесину дверей и окон материнского дома, где родилась малышка, и сильный запах лекарств, который распространялся по комнате. Новорожденная лежала на простой железной кровати в глубине пустой комнаты с женщиной, которая, без сомнения, была ее и моей мамой, но лица которой не помню.

Она протянула мне слабую руку и вздохнула:

— Ты уже меня не помнишь.

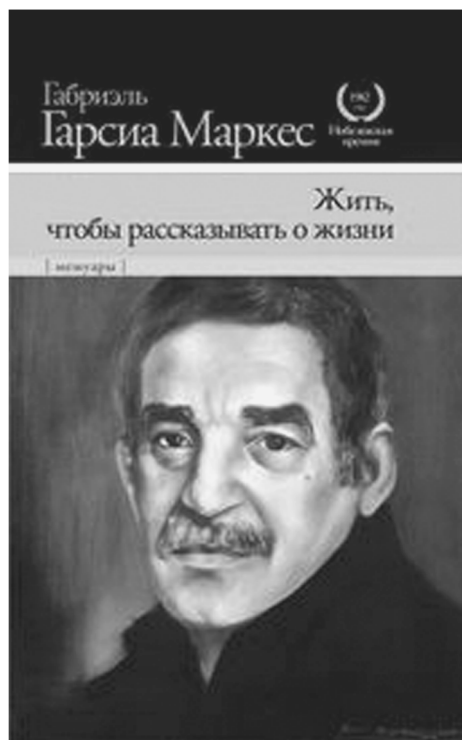
И ничего больше. Первый определенный, отчетливый ее образ запечатлелся у меня в памяти несколько лет спустя, но все же я так и не помню, когда именно. Должно быть, в один из ее приездов в Аракатаку после рождения Айды Росы, моей второй родной сестры. Я играл во дворе с новорожденным барашком, которого Сантос Вильеро принес мне на руках от Фонсеки, когда прибежала тетя Мама и очень громко, как мне показалось, сообщила:

— Пришла твоя мама!

Она повела меня в гостиную, где все женщины дома и несколько соседок сидели, как на семейном празднике, на стульях, поставленных в ряд вдоль стен. С моим появлением оживленный разговор прервался. Я словно окаменел возле двери, не зная, кто из женщин моя мама, пока она не раскрыла объятия и не произнесла нежнейшим голосом, какой я только и помню:

— А ты ведь уже мужчина!

У нее был красивый романский нос, она была исполненной достоинства, бледнее и элегантнее, чем когда-либо впоследствии, благодаря моде того года: в платье из шелка цвета слоновой кости с поясом на бедрах, с жемчужным ожерельем в несколько оборотов, посеребренных туфлях с пряжкой и высоким каблуком и шляпке из тонкой соломы в форме колокола, как из немого кино.



Ее объятия меня окутали особым запахом, который, казалось, я всегда помнил. И одновременно чувство вины внезапно повергло всего меня, мое тело и душу в трепет, потому что я знал, что мой долг был любить ее, но на самом деле я совсем не чувствовал этой обязательной сыновней любви.

В свою очередь, самое давнее воспоминание, которое я храню о моем отце, проверенное временем и весьма отчетливое, — от первого декабря 1934 года, дня, когда ему исполнилось тридцать три года. Я видел его, входящим быстрыми и бодрыми широкими шагами в дом бабушки и деда в Катаке в костюме из белого льна и в соломенной шляпе. Кто-то, обнявший и поздравивший его, спросил, сколько лет ему исполнилось. И ответ я запомнил навсегда, хотя в тот момент, конечно, не понял его:

— Возраст Христа.

Я всегда задавался вопросом, почему то воспоминание мне представляется столь давним, самым первым, ведь несомненно, что до этого я должен был встречаться с отцом уже много раз.

Мы никогда не жили в том доме, но после рождения Марго бабушка с дедом взяли за правило возить меня в Барранкилью, так что когда родилась Аида Роса, он уже был не таким чужим. Думаю, что для родителей это был счастливый дом. Там у них была аптека, и позже они открыли другую — в торговом центре.

Мы снова увидели бабушку Архемиру — маму Химе — и двоих из ее детей, Хулио и Эну, которая была очень красивой, но славившейся в семье своим постоянным невезением. Она умерла в двадцать пять лет, не знаю отчего, но до сих пор говорят, что это случилось из-за порчи, которую навел на нее некий отвергнутый и рассерженный поклонник.

По мере того как мы росли, мама Химе продолжала казаться мне все более импозантной и острой на язык.

В этот самый период мои родители нанесли мне душевную рану, оставившую так и не заживавший до конца шрам. Это было в день, когда мама под влиянием внезапно нахлынувшего приступа ностальгии села за пианино и стала наигрывать «После бала», вальс времен их тайной любви, да и папа преисполнился романтическим вдохновением — смахнул пыль со скрипки и принялся аккомпанировать маме, хотя и не хватало струны. Мама легко приноровилась к его стилю, вспомнив, должно быть, несказанные рассветы юности, и играла лучше, чем когда-либо, вся сияя, пока не подняла голову и не увидела, что глаза отца влажны от слез.

— О ком ты вспоминаешь? — спросила она с беспощадной невинностью.

— Я вспоминаю, как мы с тобой впервые сыграли его вместе, — ответил он, вдохновленный вальсом. Тогда мама вдруг яростно грохнула обоими кулаками по клавиатуре.

— Ты был не со мной, лицемер! — крикнула она во весь голос. — Ты прекрасно помнишь, с кем ты его играл, и плачешь сейчас по ней!

Она не назвала имени ни тогда, ни когда-либо после, но в тот момент мы все в разных уголках дома впали в паническое оцепенение от ее крика. Луис Энрике и я спрятались под кроватями, потому как у нас всегда имелись некие тайные основания опасаться родительского гне-

ва. Аида убежала в соседний дом, а у Марго внезапно подскочила высоченная температура, от которой она пролежала в полубреду в течение трех дней. Даже младшие братья и сестры привыкли к приступам ревности матери, когда ее глаза сверкали и романский нос казался острым, как нож. Мы не раз видели, как она с редкой невозмутимостью снимала одну за другой картины в зале и со звоном и оглушительным грохотом разбивала их об пол.

Однажды мы застали ее врасплох — обнюхивающей одежду отца вещь за вещью, прежде чем бросить их в корзину для стирки. После вечера трагического дуэта ничего особенного не произошло, но настройщик-флорентиец вскоре увез пианино, чтобы продать, а скрипка — вместе с револьвером — в конце концов сгнила в платяном шкафу.

Барранкилья была тогда на передовой гражданского прогресса, мирного либерализма и политического сосуществования.

Решающим фактором развития и процветания было завершение гражданских войн, длившихся более века, которые опустошали страну со времени обретения независимости от Испании и до коллапса банановой зоны, так и не оправившейся от жестокой расправы над забастовщиками.

Но до тех пор ничто не могло сломить человеческий дух. В 1919 году молодой предприниматель Марио Сантодоминго — отец Хулио Марио — завоевал общественное признание тем, что, сбросив парусиновый мешок с пятьюдесятью семью письмами на площадь де Пуэрто Колумбия в пяти лигах от Барранкильи с маленького самолета, пилотируемого североамериканцем Уильямом Кноксом Мартином, торжественно открыл воздушную почту.

По окончании Первой мировой войны приехала группа немецких авиаторов — среди них Гельмут фон Крон, — которые проложили воздушные пути на «Юнкерсах F-13», первых самолетах-амфибиях, преодолевавших реку Магдалену, как чудесные кузнечики, с шестью отважными пассажирами и мешками почты. Это был зародыш «SCADTA», колумбийско-немецкого общества воздушных перевозок — одного из самых первых в мире.

Наш последний переезд в Барранкилью был для меня не просто сменой города и дома, а сменой отца в одиннадцать лет. Новый был выдающимся человеком, обладавшим несомненным отцовским авторитетом, но был лишен того, к чему сызмальства привык я, воспитанный дедом, и что делало нас всех счастливыми в доме в Катаке.

Нам, привыкшим быть господами и хозяевами самих себя, стоило большого труда приспособиться к чужому укладу жизни. Больше всего отец отличался тем, что являлся абсолютным самоучкой, был самым ненасытным читателем из тех, что я знал в жизни, хотя и самым непоследовательным и беспорядочным. Отказавшись в свое время от медицинского института, он посвятил себя самостоятельному постижению гомеопатии, которая в то время не требовала академического образования, и благополучно, не без некоторых даже почестей был удостоен официальной лицензии. Но для того чтобы сносить тяготы и лишения, ему всю жизнь недоставало поддержки, которой сполна была наделена моя мать.

Черные дни он проводил в гамаке в своей комнате, читая все, что попадало под руку, и разгадывая кроссворды.

Вообще-то его принципиальный конфликт с действительностью был неразрешим. Он почти сакрально преклонялся перед богатыми, но не перед нуворишами, непонятно как разбогатевшими, а перед теми, кто заработал деньги честно, талантом и трудолюбием.

Порой мучаясь в своем гамаке бессонницей как ночами, так и во время сиест, в воображении он скапливал колоссальные состояния за счет предприятий столь простых, что диву давался, как это не пришло ему в голову раньше. В качестве примера наиболее необычного в Дариене состояния, о котором было известно, отец любил приводить две-сти лиг свиноматок. К сожалению, все наиболее заманчивые и оригинальные случаи обогащения происходили не в тех местах, где жили мы, а в дальних райских уголках, о которых он слышал во время своих юношеских скитаний в качестве телеграфиста.

Его ирреальный фатализм держал нас в подвешенном состоянии между неудачами и краткими проблесками надежд на удачу, но гораздо более затяжными были периоды, в которые по целым дням нам не падало с неба ни крошки небесной манны.

Так или иначе, но родители приучили нас к тому, что все невзгоды должно было принимать с покорностью и достоинством убежденных католиков как ниспосланные испытания.

Единственное, чего мне не хватало, так это ездить вдвоем с отцом, но осуществилось и это, когда меня привезли в Барранкилью, чтобы я помог отцу обустроить аптеку и приготовить передислокацию семьи. Меня удивило, что он относился ко мне, как к взрослому, не только с отеческой любовью, но и с уважением, притом до такой степени, что его поручения казались мне почти невыполнимыми для моих лет. И я, разумеется, выполнял их так старательно, как мог, хотя результатами он не всегда был доволен.

Перевод С.МАРКОВ, Е.МАРКОВА